#### Счастье Улиты[[1]](#footnote-1)

#### Ирина Владимировна Одоевцева

Ее звали Улитой, и она была старой девой. В этом не было ничего удивительного. Разве можно было выйти замуж с нелепым именем Улита, Улитка?

Если бы она еще была красивой, но она была худая и длинная, бесцветная и близорукая и носила круглые роговые очки. К тому же ей летом исполнилось сорок лет. Она не возмущалась, не сердилась на судьбу. Она знала, на таких, на Улитках, не женятся. Так уж устроен мир, люди делятся на счастливых и несчастных. Она была несчастна.

Она работала и ни на что не надеялась. Надеяться, действительно, было не на что. Ничего радостного уже не могло случиться в ее одинокой, пустой и ненужной жизни.

Время шло быстро, и всегда надо было торопиться. Скорей, скорей, а то опоздаешь, не успеешь сшить платья, потеряешь заказчицу.

Швейная машина стучала с утра до ночи, и стук ее отдавался в сердце Улиты, от него становилось еще тревожнее, еще грустнее. Столько стука, столько шума и для чего? Чтобы жить впроголодь и даже не сметь ни на что надеяться.

С годами она начала плохо слышать. Но от этого не стало тяжелей. Теперь жизнь не казалась больше такой оглушительной, стук швейной машины не так тревожил. Стало спокойнее и еще более одиноко. Она плохо разбирала, что ей говорят, и в ответ неопределенно покачивала головой. Это могло значить и «да» и «нет». Только заказчиц она слушала внимательно и напряженно, подставляя правое ухо и переспрашивая. И все-таки иногда получались недоразумения.

— Я вам сто раз говорила, рукава буфами, буфами, а вы что сделали? — кричала заказчица, бросая блузку на пол.

Улита испуганно поднимала блузку.

— Простите. Я не расслышала. Я перешью.

На переделку уходило целое утро, но заказчица все же была недовольна.

«Больше не придет», — тоскливо думала Улита, и заказчица, действительно, больше ничего не заказывала ей.

К весне не стало совсем работы, и Улита плакала по ночам. Она не жаловалась, да и кому пожаловаться? Она искала место, и ей наконец удалось поступить в русскую мастерскую. Зарабатывала она мало, и ей было немного стыдно, что она, старая, опытная портниха, вдруг превратилась в мастерицу. Но ведь надо жить, надо есть. Остальные мастерицы все были молодые и хорошенькие. Они мало обращали внимания на Улиту и быстро привыкли к ней, и она тоже привыкла к ним.

Они жили непонятной и веселой жизнью. Смеясь, писали какие-то письма, смеясь, читали какие-то объявления в журналах. Улита никогда не думала, что можно столько смеяться.

«Молодой ястреб, заброшенный в дебри Африки, тоскует по ласке и любви, — читали они. — Ах, бедненький, надо ему написать».

Улита недоумевала, что это за ястреб и почему он объявляет о своей тоске?

Но однажды во время перерыва на завтрак к ней подбежали мастерицы с открытым журналом в руках. Их хорошенькие лица лукаво улыбались.

— Вот, — крикнула одна из них в самое ухо Улиты, — тут объявление для вас.

Улита удивленно смотрела на них.

— А? Что? Какое объявление?

— Для вас. Вот тут, читайте.

И Улита прочла: «Ищу прекрасную душу. Возраст и внешность не имеют значения».

— Почему же это для меня? — краснея, спросила она.

— А то для кого же? Прекрасная душа — это вы. Он вас, именно вас ищет, — закричали они.

— Меня?

— Ну да, да, — теперь все мастерицы столпились вокруг Улиты. — Это вы — прекрасная душа, — перебивали они друг друга. — И возраст, и внешность, все подходит. Вы должны ему написать.

Улита стояла красная и испуганная.

— Написать ему?

— Конечно. Сегодня же. Не пропускайте свое счастье, — уговаривали они.

В этот день вся мастерская говорила только об «Улитином объявлении». Так горячо и так много, что к вечеру Улита заколебалась: а может быть, правда, написать?

Она возвращалась домой растерянная и оглушенная. Может быть, написать? Нет, это смешно. Он не ответит даже. И все-таки она вошла в магазин и купила блок голубой бумаги.

— И конверт, пожалуйста, — попросила она.

— Сколько конвертов? — спросила продавщица.

Улита покраснела.

— Мне, собственно, нужен только один.

Продавщица насмешливо прищурилась.

— Меньше двадцати пяти не продаем.

— Хорошо.

Улита поспешно заплатила и вышла.

Теперь уже было ясно, что надо написать, ведь она истратила целых шестнадцать франков.

Дома она сейчас же принялась за письмо, даже не пообедав. Есть не хотелось, она была слишком взволнована. Она рвала страницу за страницей, снова писала и снова рвала. Часы пробили одиннадцать, потом двенадцать, письмо все еще не было готово. Наконец в третьем часу ночи она надписала конверт. «Я успела бы сшить юбку за это время, — подумала она, заклеивая его. — Но зато здесь всё».

Да, в этом письме было все. Вся ее одинокая неудачная жизнь, все ее огорчения и все мечты. Конечно, он не ответит. Но утром, опуская письмо в почтовый ящик, руки ее дрожали. Ведь <нет> ничего невероятного на свете. Ведь бывают чудеса. А вдруг?

Теперь жизнь ее превратилась в полет, в вихрь, в ураган. Внешне все оставалось по-прежнему: мастерская, швейная машина, платья и блузки. Но сердцу ее не было дела до всего этого. Ее сердце трепетало и сжималось. Прежде перед глазами была черная гладкая стена. Можно было только сломать себе голову об эту стену, больше ничего. Но теперь в черной стене появилась щель, и сквозь щель эту проникал слабый луч надежды. Совсем узкая щель, совсем слабый луч. Но это все-таки была надежда. Ведь бывают чудеса...

И чудо случилось. Утром, когда она уходила на работу, консьержка протянула ей письмо. Это был ответ. Не тот, о котором она мечтала, не тот, что снился ей по ночам, а настоящий ответ, написанный на настоящей бумаге, проштемпелеванный на настоящей почте, с настоящей пятидесятисантимной маркой. И слова этого ответа не были романтичными и воздушными, это были настоящие слова.

*«Милостивая Государыня, Улита Ивановна!*

*Спешу вас уведомить, что мной, в ответ на мое объявление от 15 февраля сего года, получено 21 письмо, из коих Ваше безусловно достойнейшее.*

*Краткие сведения обо мне. Мне тридцать шесть лет, живу в Марселе, служу в первоклассном колбасном заведении. Зарабатываю довольно, имею небольшой достаток, который хотел бы разделить с подругой жизни. Пока же трагически одинок.*

*Прошу выслать Вашу фотографию».*

Улите захотелось закричать, сесть тут же на лестнице, кубарем скатиться вниз по ступенькам, броситься на шею консьержке, только бы как-нибудь выразить свой восторг. Но вместо всего этого она тихо ахнула, поправила сбившуюся на бок шляпу и вышла на улицу. Надо было спешить на работу. Хозяйка мастерской ни с какими чудесами не считается.

Улита шла бодрой веселой походкой, как она еще никогда не ходила. Она держала письмо в руке. Пусть все смотрят на нее, путь все видят. Она женщина, с которой случилось чудо, женщина, которая ждала только старости и смерти и которую неожиданно вернули к жизни и любви. Как странно, что прохожие не оборачиваются на нее. Неужели они не понимают, что с ней случилось чудо?

У большого цветочного магазина она остановилась. Прежде она никогда не смотрела на цветы. Цветы для богатых, для счастливых, от их вида ей становилось еще грустней, еще безнадежней. Но сейчас она, улыбаясь, разглядывала нежные красные розы, огромные кусты азалии, белую пушистую сирень. Как красиво, как райский сад. Вот и моя жизнь такая. И ей показалось, что жизнь ее состоит не из обид, слез и огорчений, а из роз, счастья и сирени.

В мастерской Улита показала письмо, и мастерицы с хохотом обнимали, целовали и поздравляли ее. «Невеста, невеста», — кричали они. И Улита действительно чувствовала себя невестой.

Она была счастлива. Счастлива, как бывают только в шестнадцать лет. Нет, сильнее, острее, так, как не бывают даже в шестнадцать лет. Ведь она столько плакала, столько ждала. Одно только омрачило ее счастье — карточка. Понравится ли ему карточка?

Она пошла к фотографу во время завтрака.

— Мне нужна фотография для близкого человека. Нельзя ли покрасивее? — робко сказала она.

Он осмотрел ее равнодушным понимающим взглядом.

— А он давно вас видел?

— Никогда не видел, — краснея, созналась она.

Он кивнул.

— Тогда, пожалуй, можно. Снимите-ка очки.

— Уж вы постарайтесь, пожалуйста, — попросила она.

И фотограф постарался. Через два дня он подал ей ее карточку.

— Работы много с нею было, зато останетесь довольны.

— О! — могла только благодарно простонать Улита.

Она унесла карточку домой и весь вечер разглядывала ее. Так вот она, Улита, какая. Она думала — жалкая, некрасивая, старая. А оказывается, она прелесть. Прелесть, другого слова не найти. И совсем еще молодая. Конечно, уговаривала она себя, я такая и есть. Ведь аппарат лгать не может. Какая есть, такая и выйдешь. Я близорукая, мне плохо видно в зеркало, и зеркало у меня косое и зеленое. А я вот какая. Она осторожно поцеловала карточку.

«Душенька моя. И он тоже поцелует тебя. Поцелует».

От этой мысли ладони вдруг стали влажными и колени ослабели.

Ответ пришел очень быстро.

«Голубь мой, Улиточка, — писал он. — Хотя важна душа, а не внешность, но и внешность ваша подходящая. Вот взгляните, каков я. В надежде вам понравиться».

Ваш Иван, или Ваня».

На фотографии был изображен мужчина лет тридцати пяти, коренастый и крепкий. Темные волосы пышным чубом спускались на его лоб. На нем был крахмальный воротник и галстук бабочкой. Он держал котелок и белые перчатки в руке.

— Какой красавец! — почти испуганно вскрикнула Улита. — И руки, и ноги, все цело. И даже шрама нет.

Ей почему-то казалось, что он инвалид, потерявший руку или ногу на войне или, по меньшей мере, изуродованный. Даже и такого она была готова любить. Но он оказался молодым, здоровым, настоящим мужчиной. И это уже было слишком, это было трудно перенести.

— Господи, за что? За что такое счастье?

Она крепко прижала фотографию к сердцу, все поплыло перед глазами, цветы на обоях сплелись в огромный венок, занавески на окнах высоко взметнулись. Стало трудно дышать. Острый угол фотографии больно впился в ее грудь, и ей показалось, что сердце ее открылось, и он, Ваня-Ваничка, со своим чубом и галстуком-бабочкой вошел в него.

Фотография взволновала всю мастерскую.

— Нет, каков, — кричали все мастерицы. — Не мужчина, а сахар. Вот мне бы такого.

— Ему бы парикмахером быть с такой прической, а не колбасником.

— Или кондитером. Он похож на сдобный крендель.

Улита вырвала карточку из рук мастериц. Злые дуры! Завидуют чужому счастью. Лучше молчать, скрывать, а то еще сглазят.

Теперь письма приходили каждый день. Все было решено. Он пришлет ей денег. Она поедет к нему в Марсель, и там они повенчаются. И тогда начнется счастье на всю жизнь. До самой смерти.

А пока Улита шила приданое: розовые и голубые халатики, обшитые пухом, шелковые рубашки с бантиками, ночные чепчики. Все, что, по ее мнению, необходимо счастливой женщине, все то, чего у нее раньше никогда не было.

Она покупала пудру, кремы, румяна. Счастливая, любимая женщина должна быть красивой. Он, Ваня-Ваничка, должен гордиться своей женой.

«Все мечтаю о тебе, радость моя, Улиточка, как будешь сидеть в кресле у окна и вышивать мне рубашку, а я буду играть на гитаре. Купил тебе канареечку. Как прикажешь ее назвать?»

И она отвечала.

«Назови канареечку Соней, в память моей умершей сестры».

Деньги на отъезд пришли раньше, чем она ждала. Целый день сумасшедшей беготни по магазинам, и к вечеру она уже сидела в вагоне со всеми своими картонками, чемоданами и пакетами. Это уже не были мечты, это была жизнь, самая реальная жизнь. Завтра она увидит его, Ваню. Завтра. Она закрыла глаза, и ей на минуту стало страшно. Но только на минуту. Разве можно бояться счастья? Она доверчиво улыбнулась. Как Ваня, должно быть, хлопочет, устраивая их комнату.

— Милый, милый, я еду к тебе, — сказала она громко, и соседка с удивлением обернулась к ней. Но Улита уже рылась в чемоданчике. Не забыла ли она самого главного — кремов, духи, пудру? Убедившись, что все на месте, она прислонилась затылком к твердой стене. Надо уснуть. Только одна ночь отделяет ее от счастья. Только одна ночь.

Утром она проснулась от солнца и радости. В окнах мелькали круглые холмы и низкие деревья Прованса. Небо было ослепительно голубое, восхитительно, блаженно, не небо, а голубая радость. И в этой голубой радости медленно вставало южное, огненное солнце. Но Улите некогда было смотреть в окно. Надо было приготовиться, чтобы встретить счастье. Пламя спиртовки качалось и подпрыгивало, грея щипцы. Улита завилась перед кривым зеркалом уборной. Запахло палеными волосами. Ничего, ничего. Она потерла обожженное ухо, морщась от боли. — Pour etre belle[[2]](#footnote-2)...

Пассажиры шумно и суетливо собирали вещи, толпились в коридоре вагона. Улита села к самому окну, так, чтобы ее сразу было видно. Она осторожно расправила рюшки и бантики розовой блузки, сдвинула шляпку немного на бок, взяла в руки искусственную красную розу. Так было условлено. Она не выйдет из поезда, пока он не придет за ней. Перед глазами как в тумане поплыли лица встречающих. Где-то среди них был он, Ваня-Ваничка, но ее близорукие глаза не могли его отыскать. Купе опустело, Улита осталась одна. Отчего, отчего он так долго не идет? Разве он не видит ее?

Кто-то заглянул в дверь и прошел дальше. Ждать становилось все труднее. Почти никого уже не было на перроне. Надо выходить, а то отвезут на запасной путь.

Кто-то снова заглянул в дверь, и, хотя Улита не могла разглядеть его лица, она вдруг почувствовала, что это он, Ваня-Ваничка. Она рванулась к нему, высоко поднимая руки.

Он подошел к ней вплотную.

— Так это вы? — спросил он глуховатым голосом. — Ну что же, если это вы... Здравствуйте. С приездом.

— Ваня, Ваничка, — она захлебнулась от волнения. Она хотела обнять его, но он уже деловито снимал ее чемоданы с полки.

— Многовато у вас вещей. Но я сильный, без носильщика справлюсь. Пожалуйте, — и он отстранился, пропуская ее вперед.

Она пошла, неуверенно ступая. Он помог ей выйти из вагона, она испуганно вцепилась в его руку.

— Чего это вы как по льду ходите? — спросил он. — Не видите?

— А? Что? — переспросила она.

— Не слышите? Не видите? — крикнул он ей в ухо.

Она покраснела и затрясла головой.

— Это от усталости, с дороги. Обыкновенно я хорошо...

— Да, бывает, — перебил он, крепко беря ее под руку и сводя вниз по белой, сияющей, бесконечной лестнице. — Гостиница здесь недалеко, только площадь перейти.

Это был он, Ваня-Ваничка, и он вел ее к себе.

Небо было все такое же голубое, но теперь оно почему-то казалось ей жестоким и насмешливым.

Она шла молча, думая только о том, чтобы не споткнуться, не упасть.

Вот и пришли.

Он ввел ее в подъезд гостиницы. Гостиница была старая и запущенная, пахло плесенью и капустой. И от этого противного запаха Улите вдруг стало грустно. Уже нельзя было притворяться. Ей было грустно, радости не было. Она не об этом мечтала. Но что же это такое?

Он толкнул дверь своей комнаты.

— Добро пожаловать, — сказал он мрачно.

Она робко вошла. Нет, все было совсем не так, как она мечтала. И комната не та. Она думала, маленькая с обоями в цветочки, но комната была длинная и узкая и обои рыжие.

— О, Господи, — вздохнула Улита.

— Что, устали? Ничего, сейчас чайку выпьем с колбасными изделиями, усталость как рукой снимет. А пока вымойтесь хорошенько, а то вы как клоун перемазаны.

Он вышел в коридор, чтобы не мешать ей.

— Как клоун, — прошептала она и закрыла лицо руками. Вместо «красавица», вместо «солнышко» — «клоун».

Ей захотелось убежать, спрятаться куда-нибудь в черную нору, ни о чем не помнить, ничего не чувствовать. Но нельзя было. Он ждал в коридоре. Она вздохнула и отвернула кран. Холодная вода потекла по шее, затопляя Улиту чувством гибели и отчаяния, покрывая розовую блузку. Все равно, теперь все равно. Она крепко вытерла лицо полотенцем, сняла шляпу и, не глядя в зеркало, поправила волосы.

«Но ведь он ничего еще не сказал, ничего непоправимого еще не произошло, — мелькнуло в ее голове. — Может быть, все еще будет хорошо».

— Можно, — крикнула она, и он сейчас же вошел.

— А так-то лучше. Ну-с, Улита Ивановна, давайте чаек пить. Садитесь.

Она послушно подошла к столу и вдруг заметила клетку с канарейкой. И клетка и канарейка были совсем такие, как она мечтала. Только одна канарейка не обманула ее.

— Сонечка, — Улита протянула к ней руку, — Сонечка.

— Пенка, Пенка ее зовут, а не Соня, — перебил он ее. — Где это видано, чтобы пичуге христианское имя давали!

Улита молча опустила голову. Даже канарейка не та.

— Кушайте, кушайте, — уговаривал он. — Ветчина, колбаса, все первосортное, нашего производства.

Но Улита не могла есть. Говорить она тоже не могла. Она сидела, грустно и бессмысленно разглядывая узор скатерти.

— Вот что, — вдруг громко начал он. — Пора и объясниться. — Он поправил чуб у себя на лбу. — Тут произошла ошибка, так называемое недоразумение. Конечно, я писал — внешность безразлична. Но существует граница, так сказать. Вы сами понимаете, — он вдруг запнулся и тяжело задышал носом.

— Я понимаю, — тихо проговорила она.

Он обрадованно закивал.

— Вот и отлично. Деньги на билет я вам раздобуду и завтра же с Богом в путь-дорожку. А пока прошу чувствовать себя полной хозяйкой у меня. Я у приятеля переночую.

Он встал и церемонно поклонился.

— Боюсь надоесть вам, да и в колбасную пора. До приятного. А вы вздремнули бы.

Он взял с вешалки шляпу, надвинул ее на чуб и, кивнув Улите, вышел.

Улита осталась одна. Теперь все было ясно и уже не было надежды. Как быстро, как просто все произошло. Она подошла к окну, взглянула на голубое небо. Скорей бы стемнело. Тогда можно будет незаметно уйти из отеля, пробраться в порт. Это был единственный, неизбежный, спасительный выход. Она вздрогнула, представляя себе холодные, тяжелые волны. Только бы не мучиться, только бы скорей конец.

Она не подумала даже, что может вернуться в Париж, в мастерскую, в прежнюю жизнь. Нет, впереди не было ничего, кроме смерти.

И все-таки надо было еще жить, еще ждать, пока стемнеет. Она отвернулась от окна, и взгляд ее упал на широкую постель. Если бы можно было уснуть. Она так устала. Она легла на пикейное одеяло. «Надо снять одеяло, помну», — подумала она. Но голова уже тяжело опустилась на подушку, и веки закрылись. Стало совсем темно, совсем тихо. Ей показалось, что она проваливается куда-то, что она лежит не в отдельной комнате на белой постели, а на твердом морском дне и большие рыбы медленно проплывают в зеленоватой воде, задевая ее мягкими, скользкими плавниками.

Вот и конец. И не страшно, не больно.

Дверь бесшумно отворилась, и кто-то вошел в зеленоватую воду. Рыбы испуганно отплыли в сторону, и Улита увидела смутно белевшее лицо, странно похожее на лицо Вани-Ванички. Но этого не может быть.

— Нет, нет, — простонала она.

— Улиточка, — смутно донесся до нее голос. — Как мог я тебя обидеть, такую бедную, жалкую?

Она закрыла глаза. Как странно. Разве мертвым снятся сны?

Голос перешел в глухой гул. Ну да, это шумит море. Но в этот шум врывались какие-то слова.

— Я так боялся, что ты ушла. Бедная моя, слепенькая, глухенькая.

И снова морской шум и ощущение мокрых рыбных плавников на лице и руках.

Она проснулась. В комнате было совсем темно. Кто-то стоял на коленях перед кроватью, лицо его уткнулось в подушку, его широкие плечи вздрагивали.

— Что, что с вами? — испуганно вскрикнула Улита. — Что?

И он, Ваня-Ваничка, поднял к ней заплаканное лицо.

— Улиточка, родная моя, — всхлипнул он. — Ты спала, и мне тебя так жалко, так жалко... И я все понял.

— Что? Что? — переспросила она.

— Я только сейчас понял, как я несчастен, — быстро говорил он. — Как я несчастен, как ты несчастна. Нам нельзя расставаться. Скажи, что ты простила меня?

Это было невероятно, невозможно. Но теперь ничто уже не могло удивить ее. Новая жизнь началась, и счастье пришло. Оно опоздало только на несколько часов.

Она наклонилась к нему и поцеловала его в губы, и ей показалось, что всего этого тяжелого, страшного дня не было. Она только что приехала, и это первая минута их встречи.

— Здравствуй, Ваничка-Ваня, — сказала она радостно.

1. Первая публикация: Иллюстрированная Россия. 1932. 26 марта. № 13 (359). С. 1—3; 2 апр. № 14 (360). С. 10—11. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pour etre belle <ilfaut souffrir> — красота требует жертв (букв.: чтобы быть красивой, <надо страдать>) (фр.). [↑](#footnote-ref-2)